

КНИГА ПЕРВАЯ



ГЛАВА I

Различными средствами можно достичь одного и того же

Если мы оскорбили кого-нибудь и он, собираясь отомстить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский¹, тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиень², человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, продвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью одни сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней притупили острие его гнева, и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег³, властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога Баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унижительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе все, что они смогут

взять. Они же, руководясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему, и к его подданным⁴.

На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем для стойков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными, ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались неколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида⁵, согнувшегося под бременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда⁶, красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары, и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший⁷, взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий⁸ и захватив в нем вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое сча-

стью на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпей, даровавший пощаду всему городу мамертинцев⁹, на которых он перед тем был сильно разгневан, из уважения к добродетелям и великодушию лишь одного их согражданина — Зенона¹⁰; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии¹¹, несколько не помог этим ни себе, ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усилий городом Газой¹², наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили, — крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: «Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна-единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твоё безмолвие, и если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хо-

тя бы стоны». И, распаяясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая таким образом и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или, быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив¹³, когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущим или умоляющим о пощаде; напротив, всякий, бросающийся из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя таким путем почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отомстить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.

ГЛАВА II

О скорби

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспевают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу¹, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой,

проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стонали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь².

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож³. Находясь в Триденте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорой и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что поддало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого, — сказал Псамменит, — что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца⁴, который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея⁵, потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу —

*diriguissè malis**.

* Окаменела от горя⁶ (лат.).

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — а некоторое время спустя, разразившись наконец слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

Et via vix tandem voci laxata dolore est.*

Во время войны короля Фердинанда со вдовой венгерского короля Иоанна, в битве при Буде⁸, немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменной храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе с остальными, кто же все-таки этот всадник, он, после того как с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов⁹ и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

*Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco**.*

Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

*misero quod omnes
Eripit sensus mihi. Nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
Quod loquar amens.
Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma dimanat, sonitu suo pte
Tinniunt aures, gemina teguntur
Lumina nocte***.*

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах;

* И с трудом наконец горе открыло путь голосу⁷ (*лат.*).

** Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем¹⁰ (*ит.*).

*** Увы мне, любовь лишила меня всех моих чувств. Стоит мне, Лесбия, увидеть тебя, как я, обезумев, уже не в силах что-либо произнести. У меня цепенеет язык, нежное пламя разливается по всему телу, звоном сами собой наполняются уши и тьмой заволакиваются глаза¹¹ (*лат.*).

наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

Curae leves loquuntur, ingentes stupent.*

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

*Ut me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrita monstis,
Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur**.*

Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах¹⁴, кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы¹⁵, умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, — мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер¹⁶. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик¹⁷ умер во время ученого спора, так как испытывал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же благодаря постоянному размышлению я с каждым днем все более черствее и закаляюсь.

ГЛАВА III

Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем

* Только малая печаль говорит, большая — безмолвна¹² (лат.).

** Едва она заметила, что я подхожу, и увидела в изумлении вокруг меня троянских воинов, — устрешенная великим чудом, она обомлела, жизненный жар покинул ее кости, она падает и лишь спустя долгое время молвит¹³ (лат.).

даже прошлое, — затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. *Calamitosus est animus futuri anxius**.

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя»². Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себя и вторую половину ее и таким образом охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. *Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet***.

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников: ведь и то и другое мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что к его памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым

* Несчастлива душа, исполненная забот о будущем¹ (лат.).

** И если глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, все же никогда не считает, что приобрела достаточно, то мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует на себя³ (лат.).

незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия⁴.

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния»⁵. Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что, при всей безупречности принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий, весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стонали и плакали, возглашая, что покойный — каков бы он ни был на деле — был лучшим из их царей; таким образом они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым; а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер, как добавляет, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно?⁶ Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддер-

живаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam

Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:
Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse...
Nec removet satis a proiecto corpore sese, et
Vindicat*.

Бертран дю Геклен⁸ умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано⁹, начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио¹⁰, однако, воспротивился этому, он предпочел пробиться открыто силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает, — сказал он, — чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, выказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказываясь тем самым от чести быть победителем и лишаясь таким образом права на то, чтобы воздвигнуть трофей¹¹. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий¹² не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай¹³ закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простираť заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности — не говоря уже о примерах из нашего времени, — что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I¹⁴, король английский, удостоверившись во время продолжительных

* Вряд ли хоть кто-нибудь может с корнем изъять и вырвать себя из жизни. Сам того не сознавая, всякий предполагает, что от него должно нечто остаться, и он не может полностью отделить себя от простертого трупа и отрешиться от него⁷ (лат.).

войн своих с шотландским королем Робертом¹⁵, насколько его присутствие способствовало успеху в делах, — ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, — умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот после его кончины выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами, — словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка¹⁶, возмущивший Богемию ради поддержки заблуждений Уиклифа¹⁷, высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, дабы они служили им примером храбрости и залогом победы¹⁸.

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда¹⁹, который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа²⁰, был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною красою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснения, я тем не менее

также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно быть прикрито. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своем завещании, чтобы ему после кончины надели подштанники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает с его трупом, завязали глаза. Если Кир²¹ завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк, и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам.

Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменной болезнью, он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобы тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон. Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида²², запретившего своим наследникам устраивать

ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот действительно легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то, полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон²³ поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычая установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех — кто бы это ни оказался, — кому придется взять на себя эту заботу: *Totus hic locus est contempendus in nobis, non negligendus in nostris**. И святая истина сказана одним из святых: *Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum***. Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Как вам будет угодно». Если бы я простирали заботы о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, убажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и убажывать свои чувства тем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение при Аргинусских островах²⁶, самое значительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне, одном из осужденных на казнь, человеку замеча-

* Мы должны относиться с презрением ко всем этим заботам, когда дело идет о нас, но не пренебрегать ими по отношению к нашим близким²⁴ (лат.).

** Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение для живых, чем облегчение участи мертвых²⁵ (лат.).

тельной воинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование столь блистательного успеха уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно, твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако, судьба при сходных обстоятельствах отмстила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшим морские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и неведимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предраассудок.

Quaeris quo iaceas post obitum loco?
Quo non nata iacent*.

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

Neque sepulcrum, quo recipiat habeat, portum corporis,
Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis**.

ГЛАВА IV

*О том, что страсти души изливаются
на воображаемые предметы, когда ей недостает настоящих*

Один из наших дворян, которого мучали жесточайшие припадки подагры, когда врачи убеждали его отказаться от употребления в пищу кушаний из соленого мяса, имел обыкновение остроумно отвечать,

* Ты спрашиваешь, в каком месте будешь покоиться после смерти? Там, где покоятся еще не рожденные²⁷ (лат.).

** Пусть не найдет он могилы, которую был бы принят, пристанища для мертвого тела, где бы, когда жизнь человека кончилась, тело могло отдохнуть от невзгод²⁸ (лат.).

что в разгар мучений и болей ему хочется иметь под рукой что-нибудь, на чем он мог бы сорвать свою злость, и что, ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, он испытывает от этого облегчение. Но, право же, подобно тому, как мы ощущаем досаду, если, подняв для удара руку, не поражаем предмета, в который метили, и наши усилия растрчены зря, или, скажем, как для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила б ему опорой:

Ventus ut amittit vires, nisi robore densae
Occurrant silvae, spatio diffusus inani*,

так же, мне кажется, и душа, потрясенная и взволнованная, бесплодно погружается в самое себя, если не занять ее чем-то внешним; нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью ее стремлений и направлять ее деятельность. Плутарх говорит по поводу тех, кто испытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложенная в нас потребность любить, не находя естественного выхода, создает, лишь бы не прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные². И мы видим действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порою не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери, обезумев от ярости, набрасываются на оружие или на камень, которые ранили их, или, раздирая себя собственными зубами, пытаются выместить на себе мучающую их боль.

Pannonis haud aliter post ictum saevior ursae,
Cum iaculum parva Libys amentavit habena
Se rotat in vulnus, telumque irata receptum
Impetit, et secum fugientem circuit hastam**.

Каких только причин ни придумываем мы для объяснения тех несчастий, которые с нами случаются! За что ни хватаемся мы, с основанием или без всякого основания, лишь бы было к чему придраться! Не эти светлые кудри, которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты, во власти отчаяния, бьешь так беспощадно, наслали смертоносный свинец на твоего любимого брата: ищи виновных не здесь. Ливий, рассказав о скорби римского войска в Испании по слу-

* И как ветер, рассеявшись в пустынном пространстве, теряет силу, если густые леса не встанут пред ним преградой¹ (лат.).

** Так паннонская медведица, расвирипев от удара копьем, которое метнул в нее с помощью короткого ремня ливиец, изгибается к ране, в ярости стремится достать вонзившийся наконечник и мечется вокруг древка, убегающего вместе с нею³ (лат.).

чаю гибели двух прославленных братьев⁴, его полководцев, добавляет: *Flere omnes repente et offensare carita**. Таков общераспространенный обычай. И разве не остроумно сказал философ Бион о царе, который в отчаянии рвал на себе волосы: «Этот человек, кажется, думает, что плешь облегчит его скорбь»⁶. Кому из нас не случалось видеть, как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы выместить хоть на чем-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море — Гелеспонт⁷ — и наложить на него цепи, он обрушил на него поток брани и послал горе Афон вызов на поединок. Кир на несколько дней задержал целое войско, чтобы отомстить реке Гинд за страх, испытанный им при переправе через нее. Калигула⁸ распорядился снести до основания прекрасный во всех отношениях дом из-за тех огорчений, которые претерпела в нем его мать.

В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получив от Бога славную трепку, поклялся отомстить за нее; он приказал, чтобы десять лет сряду в его стране не молились Богу, не вспоминали о нем и, пока этот король держит в своих руках власть, даже не верили в него. Этим рассказом подчеркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, о котором шла речь: оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобных поступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежели глупости.

Император Август⁹, претерпев жестокую бурю на море, разгневался на бога Нептуна и, чтобы отомстить ему, приказал на время праздничных игр в цирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом его можно извинить еще меньше, чем всех предыдущих, и все же этот поступок Августа более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до него дошла весть о поражении, понесенном его полководцем Квинтилием Варом в Германии, он стал биться в ярости и отчаянии головою о стену, без конца выкрикивая одно и то же: «О Вар, отдай мне мои легионы!»¹⁰ Но наибольшее безумие — ведь тут примешивается еще и кощунство — постигает тех, кто обращается непосредственно к Богу или судьбе, словно она может услышать нашу словесную пальбу; они уподобляются в этом фракийцам, которые, когда сверкает молния или гремит гром, вступают в титаническую борьбу с небом, стремясь тучею стрел образумить разъяренного Бога. Итак, как говорит древний поэт у Плутарха:

Когда ты в ярости судьбу ругаешь,
Ты этим только воздух сотрясаешь¹¹.

Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно, в осуждение человеческой несдержанности.

* Все тотчас же принялись рыдать и бить себя по голове⁵ (лат.).

ГЛАВА V

*Вправе ли комендант осажденной крепости
выходить из нее для переговоров с противником?*

Луций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, царем македонским, стремясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовность свое войско, затеял переговоры о мире, и царь, обманутый ими, заключил перемирие на несколько дней, предоставив, таким образом, неприятелю возможность и время вооружиться и приготовить-ся, что и повело к окончательному разгрому Персея¹. Но случилось так, что старцы-сенаторы, еще хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция как противоречащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, в том, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночными схватками, не притворным бегством и неожиданным ударом по неприятелю, а также не начиная войны прежде ее объявления, но, напротив, зачастую оповещая заранее о часе и месте предстоящей битвы. Исходя из этого, они выдали Пирру его врача, задумавшего предать его, а фалискам — их злонамеренного учителя². Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческой изворотливостью и пуническим вероломством, у каких-то народов считалось, что меньше чести и славы в том, чтобы побеждать силою, а не хитростью и уловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом в отдельных случаях, но побежденным считает себя лишь тот, кто уверен, что его одолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинской доблестью, в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала в соответствии с установленными законами и с соблюдением принятых правил. По речам этих славных людей ясно видно, что им еще не было известно нижеследующее премудрое изречение:

*dolus an virtus quis in hoste requirat?**

Ахейцы, рассказывает Полибий, презирали обман и никогда не прибегали к нему на войне; они ценили победу только тогда, когда им удавалось сломить мужество и сопротивление неприятеля⁴. *Eam vir sanctus et sapiens sciet veram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur***, — говорит другой римский автор.

*Vos ne velit an me regnare hera quidve ferat fors
Virtute experiamur***.*

* Не все ли равно, хитростью или доблестью победил ты врага?³ (лат.)

** Муж праведный и мудрый сочтет истинной только ту победу, которую доставит безупречная честность и незапятнанное достоинство⁵ (лат.).

*** Испытаем же доблестью, вам или мне назначила властвовать всемогущая судьба, и что она несет⁶ (лат.).

В царстве тернатском⁷, именуемом нами с легкой душою варварским, общепринятые обычаи запрещают идти войною, не объявив ее предварительно и не сообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены в этой войне, а именно сколько у тебя воинов, каково их снаряжение, а также оборонительное и наступательное оружие. Однако, если, невзирая на это, неприятель не уступает и не идет на мирное разрешение спора, они не останавливаются ни перед чем и полагают, что в этом случае никто не имеет права упрекать их в предательстве, вероломстве, хитрости и всем прочем, что могло бы послужить средством к обеспечению легкой победы.

Флорентийцы в былые времена были до такой степени далеки от желания получить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что за месяц вперед предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол, который назывался у них Мартинелла.

Что касается нас, которые на этот счет гораздо менее щепетильны, нас, считающих, что кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас, повторяющих вслед за Лисандром, что где недостает львиной шкуры, там нужно пришить клочок лисьей, то наши воззрения ни в какой степени не осуждают общепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы, когда военачальнику полагается быть более начеку, чем в час ведения переговоров или заключения мира. Поэтому для всякого теперешнего воина непреложно правило, по которому комендант осажденной крепости не должен ни при каких обстоятельствах выходить из нее для переговоров с неприятелем. Во времена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора и де Л'Ассины, защищавших Музон от графа Нассауского⁸.

Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание. Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечив себе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо ди Рангоне (если прав дю Белле, ибо, по словам Гвиччардини, это был не кто иной, как он сам) в городе Реджо⁹, когда встретился с господином де Л'Экю для ведения переговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостных стен, что, когда во время переговоров вспыхнула ссора и противники взялись за оружие, господин де Л'Экю и прибывшие с ним не только оказались более слабою стороною, — ведь тогда-то и был убит Алессандро Тривульцио, — но и самому господину де Л'Экю пришлось, доверившись графу на слово, последовать за ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности.

Антигон, осадив Евмена в городе Нора¹⁰, настойчиво предлагал ему выйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользу своего предложения он привел также следующий: Эв-

мену, мол, надлежит предстать перед ним потому, что он, Антигон, более велик и могуществен, на что Евмен дал следующий достойный ответ: «Пока у меня в руках меч, нет человека, которого я мог бы признать выше себя». И он согласился на предложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал ему в заложники своего племянника Птолемея.

Впрочем, попадаютсЯ и такие военачальники, которые имеют основание думать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдЯ из крепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцарЯ из Шампани, осажденного англичанами в замке Коммерси. Бертелеми де Бонн, начальствовавший над осаждавшими, подвел подкоп под большую часть этого замка, так что оставалось только поднести огонь к запалу, чтобы похоронить осажденных под развалинами, после чего предложил вышеназванному Анри выйти из крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к его же благу, в доказательство чего и открыл ему свои козыри. После того как рыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, он проникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всеми своими солдатами на милость победителя. В подкопе был устроен взрыв, деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания.

Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми с большой неохотой, если бы мое поведение подавало кому-нибудь повод считать, что меня побуждают к нему отчаяние и малодушие, а не душевная прямота и вера в людскую честность.

ГЛАВА VI

Час переговоров — опасный час

Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюссидане¹, находящемся по соседству со мной, как те, кто был выбит оттуда нашей армией, а также приверженцы их жаловались на предательство, ибо во время переговоров, условившись о перемирии, они подверглись внезапному нападению и были разбиты наголову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй, вызвать сочувствие. Но, как я говорил выше, наши обычаи не имеют больше ничего общего с правилами былых времен. Вот почему не следует доверять друг другу, пока договор не скреплен последней печатью; да и при наличии этого чего не случается!

Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносное войско станет соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу, сдавшемуся на сравнительно мягких и милости-

вых условиях и согласившемуся впустить еще разгоряченных боем солдат. Луций Эмилий Регилл, римский претор, потеряв время в бесплодных попытках захватить силою город фокейцев, ибо жители его защищались с поразительной отвагой, пошел в конце концов с ними на соглашение, по которому он принимал их под свою руку в качестве «друзей римского народа» и должен был вступить в их город, как в город союзников. Этим он окончательно рассеял их опасения насчет возможности каких-либо враждебных действий со стороны победителей. Но, когда они вошли в город — ибо Эмилий, желая показать себя во всем блеске, ввел туда все свое войско, — усилия, которые он прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными, и значительная часть города была разгромлена у него на глазах: жажда пограбить и отомстить поборола в них уважение к его власти и привычку повиноваться.

Клеомен имел обыкновение говорить, что, каковы бы ни были злодеяния, совершаемые во время войны в отношении неприятеля, они выходят за пределы правосудия и не подчиняются его приговорам — за них не судят ни боги, ни люди. Договорившись с аргивянами о перемирии на семь дней, он напал на них уже в третью ночь, когда их лагерь был погружен в сон, и нанес им жесточайшее поражение, ссылаясь в дальнейшем на то, что в его договоре о перемирии ни словом не упоминается о ночах. Боги, однако, покарали его за это изощренное вероломство.

Жители города Казилина², беспечно полагаясь на свою безопасность, подверглись во время переговоров внезапному нападению, и это произошло в век наисправедливейших и благороднейших полководцев превосходного во всех отношениях римского войска. В самом деле, нигде ведь не сказано, что нам не дозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостью неприятеля, подобно тому как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости. Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в условиях военных действий совершенно разумны вопреки нашему разуму; здесь не соблюдают правила: *neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia**.

Меня поражает, однако, та безграничность, какую допускает в отношении отмеченных привилегий такой автор, как Ксенофонт, о чем свидетельствуют и речи и деяния его якобы совершенного самодержца; а ведь в подобных вопросах это — писатель, обладающий исключительным весом, ибо он — прославленный полководец и философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда и не во всем я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядами на этот предмет⁴.

* Никто не должен извлекать выгоду из неразумия другого³ (лат.).

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	5
------------------	---

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I. Различными средствами можно достичь одного и того же	9
Глава II. О скорби	12
Глава III. Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»	15
Глава IV. О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, когда ей недостает настоящих	22
Глава V. Вправе ли комендант осажденной крепости выходить из нее для переговоров с противником?	25
Глава VI. Час переговоров — опасный час	27
Глава VII. О том, что наши намерения являются судьями наших поступков	30
Глава VIII. О праздности	31
Глава IX. О лжецах	32
Глава X. О речи живой и о речи медлительной	38
Глава XI. О предсказаниях	40
Глава XII. О стойкости	44
Глава XIII. Церемониал при встрече царствующих особ	47
Глава XIV. О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них	48
Глава XV. За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание	69
Глава XVI. О наказании за трусость	70
Глава XVII. Об образе действий некоторых послов	72
Глава XVIII. О страхе	75
Глава XIX. О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер	78
Глава XX. О том, что философствовать — это значит учиться умирать	80
Глава XXI. О силе нашего воображения	97

Глава XXII. Выгода одного — ущерб для другого	108
Глава XXIII. О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы	109
Глава XXIV. При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное	126
Глава XXV. О педантизме	136
Глава XXVI. О воспитании детей	148
Глава XXVII. Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности	184
Глава XXVIII. О дружбе	188
Глава XXIX. Двадцать девять сонетов Этьена де Ла Боэси	201
Глава XXX. Об умеренности	202
Глава XXXI. О канибалах	207
Глава XXXII. О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью	220
Глава XXXIII. О том, как ценой жизни убегают от наслаждений	222
Глава XXXIV. Судьба нередко поступает разумно	224
Глава XXXV. Об одном упущении в наших порядках	227
Глава XXXVI. Об обычае носить одежду	228
Глава XXXVII. О Катоне Младшем	231
Глава XXXVIII. О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же	235
Глава XXXIX. Об уединении	238
Глава XL. Рассуждение о Цицероне	250
Глава XLI. О нежелании уступать свою славу	255
Глава XLII. О существующем среди нас неравенстве	258
Глава XLIII. О законах против роскоши	267
Глава XLIV. О сне	269
Глава XLV. О битве при Дрё	271
Глава XLVI. Об именах	272
Глава XLVII. О ненадежности наших суждений	277
Глава XLVIII. О боевых конях	283
Глава XLIX. О старинных обычаях	291
Глава L. О Демокрите и Гераклите	295
Глава LI. О суетности слов	298
Глава LII. О бережливости древних	301
Глава LIII. Об одном изречении Цезаря	302
Глава LIV. О суетных ухищрениях	304
Глава LV. О запахах	307
Глава LVI. О молитвах	309
Глава LVII. О возрасте	318

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I. О непостоянстве наших поступков	323
Глава II. О пьянстве	330
Глава III. Обычай острова Кеи	339
Глава IV. Дела — до завтра!	352
Глава V. О совести	354
Глава VI. Об упражнении	358
Глава VII. О почетных наградах	369
Глава VIII. О родительской любви	372
Глава IX. О парфянском вооружении	391
Глава X. О книгах	394
Глава XI. О жестокости	407
Глава XII. Апология Раймунда Сабундского	422
Глава XIII. О том, как надо судить о поведении человека пред лицом смерти	598
Глава XIV. О том, что наш дух препятствует себе самому	605
Глава XV. О том, что трудности распаляют наши желания	606
Глава XVI. О славе	613
Глава XVII. О самомнении	627
Глава XVIII. Об изобличении во лжи	661
Глава XIX. О свободе совести	666
Глава XX. Мы не способны к беспримесному наслаждению	670
Глава XXI. Против безделья	673
Глава XXII. О почтовой гоньбе	677
Глава XXIII. О дурных средствах, служащих благой цели	678
Глава XXIV. О величии римлян	682
Глава XXV. О том, что не следует прикидываться больным	684
Глава XXVI. О большом пальце руки	686
Глава XXVII. Трусость — мать жестокости	687
Глава XXVIII. Всякому овощу свое время	697
Глава XXIX. О добродетели	699
Глава XXX. Об одном уродце	705
Глава XXXI. О гневе	707
Глава XXXII. В защиту Сенеки и Плутарха	714
Глава XXXIII. История Спурины	720
Глава XXXIV. Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря	727
Глава XXXV. О трех истинно хороших женщинах	736
Глава XXXVI. О трех самых выдающихся людях	743
Глава XXXVII. О сходстве детей с родителями	750

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава I. О полезном и честном	781
Глава II. О раскаянии	796
Глава III. О трех видах общения	812
Глава IV. Об отвлечении	825
Глава V. О стихах Вергилия	836
Глава VI. О средствах передвижения	901
Глава VII. О стеснительности высокого положения	920
Глава VIII. Об искусстве беседы	925
Глава IX. О суетности	948
Глава X. О том, что нужно владеть своей волей	1012
Глава XI. О хромых	1037
Глава XII. О физиогномии	1048
Глава XIII. Об опыте	1076
Примечания	1132